

Дело Засулич как зеркало столичного общества

Исход "дела Засулич" был обусловлен не только настроением общества и не только ярким выступлением её адвоката, но и беспристрастием председателя Петербургского окружного суда, Анатолия Фёдоровича Кони (1844–1927). Он не поддавался давлению до процесса и отверг требования начальства обеспечить "правильный" приговор присяжных. Он отклонил требование подать в отставку после процесса, несмотря на переданное ему неудовольствие самого государя императора.

А.Ф. Кони – больше, чем судья. Это видный общественный деятель, притом отлично владеющий словом. Автор воспоминаний и публичных лекций, очерков о государственных деятелях и писателях, с 1900 г. – почётный академик по разряду изящной словесности, а при советской власти – сотрудник Института живого слова.

Ниже приводятся отрывки из воспоминаний А.Ф. Кони. Судя по этому тексту, какое решение по "делу Засулич" сам Кони считал бы правильным?

А. Ф. Кони. Воспоминания о деле Веры Засулич.

Поступок Засулич произвел большое впечатление в обществе. Большинство, не любившее Трепова и обвинявшее его в подкупности, в насилиях над городским самоуправлением посредством высочайших повелений, возлагавших на город неожиданные тяготы, радовалось постигнутому его несчастью. "Подделом досталось!" – говорили одни..., "старому вору", – прибавляли другие. Даже между чинами полиции, якобы преданными Трепову, было затаенное злорадство против "Федьки", как они звали его между собой. Вообще, сочувствия к потерпевшему не было, и даже его седины не вызывали особого сожаления к страданиям. Главный недостаток его энергичной деятельности в качестве градоначальника – отсутствие нравственной подкладки в действиях – выступал перед общими взорами с яркостью, затемнявшей несомненные достоинства этой деятельности, и имя Трепова не вызывало в эти дни ничего, кроме жестокого безучастия и совершенно бессердечного любопытства. Да и впоследствии по отношению к нему общее мнение мало изменилось, хотя между его преемниками – злобно-бездарным Зуровым, глупым Федоровым, трагикомическим шарлатаном Барановым и развратным солдафоном Козловым – и им была целая пропасть в смысле ума, таланта и понимания своих задач <...>

Отношение к обвиняемой было двоякое. В высших сферах, где всегда несколько гнушались Треповым, находили, что она – несомненная любовница Боголюбова и все-таки "мерзавка", но относились к ней с некоторым любопытством. Я видел у графа Палена¹ в половине февраля фотографические карточки "мерзавки", находившиеся у графини Пален, которые ходили по рукам и производили известный эффект. Иначе относилось среднее сословие. В нем были восторженные люди, видевшие в Засулич новую русскую Шарлотту Кордэ² были многие, которые усматривали в ее выстреле протест за поруганное человеческое достоинство – грозный призрак пробуждения общественного гнева; была группа людей, которых пугала доктрина кровавого самосуда, просвечивавшаяся в действиях Засулич. Они в тревожном раздумьи качали головами и, не отказывая в симпатии характеру Засулич, осуждали ее поступок как опасный прецедент... Мнения, горячо дебатруемые, разделялись: одни рукоплескали, другие сочувствовали, третьи не одобряли, но никто не видел в Засулич "мерзавку", и, рассуждая разное о ее преступлении, никто, однако, не швырял грязью в преступницу и не обдавал ее злобной пеной всевозможных измышлений об ее отношениях к Боголюбову. Сечение его, принятое в свое время довольно индифферентно, было вновь вызвано к жизни перед равнодушным вообще, но впечатлительным в частностях обществом. Оно – это сечение – оживало со всеми подробностями, комментировалось как грубейшее проявление произвола, стояло перед глазами втайне пристыженного общества, как вчера совершенное, и горело на многих слабых, но честных сердцах как свеженанесенная рана...

Вдумываясь в тогдашнее настроение общества в Петербурге, действительно трудно было сказать утвердительно, что по делу Засулич последует обвинительный приговор. Такой приговор был бы несомненен в Англии, где живое правосознание разлито во всем населении, где чувство законности и государственного порядка вошло в плоть и кровь общества и где, наверное, все, что было понятного в возмущении Засулич поступком Трепова и трогательного в ее

¹ Пален Константин Иванович (1833–1912). Министр юстиции в 1867–1878 годах. Придерживался ограничительной линии; в частности, считал необходимым подстраивать практику применения законов под запросы власти.

² Жертвывая собой, Шарлотта Кордэ убила Марата – одного из вождей Великой французской революции.

самопожертвовании, повлияло бы только на мягкость приговора, но не на существо его. Но надо заметить, что в Англии, да и во всякой свободной стране, злоупотребление Трепова давно уже вызвало бы запросы в палате, оценку по достоинству в печати и, вероятно, соответствующее взыскание или, по крайней мере, неодобрение правительства. Быть может, как говорят, в Англии секут арестантов, и с точки зрения англичан данный поступок Трепова был и правилен, но дело в том, что он был противен русским законам и оскорблял сложившиеся в лучшей части общества за последние двадцать лет взгляды на личное достоинство человека... и, если бы поступок Трепова имел эти же свойства в Англии, то во взыскании с него или в порицании его, выраженном публично, общественное мнение нашло бы значительное удовлетворение. *L'incident serait clos*³ – и оставалась бы одна Засулич со своим самосудом... Но так ли было у нас?! Несмотря на закон, на разъяснения сената, сечение связанного студента, который еще не был каторжником, оставалось без всяких последствий для превысивших свою власть; главный виновный не только продолжал стоять на своей служебной высоте, но ему не было сделано ни замечания, ни намек по поводу его дикой расправы.

Выстрел Засулич обратил внимание общества на совершившийся в его среде акт грубого насилия в то время, когда все его внимание было обращено на театр войны. И настроение общества в Петербурге в это время вовсе не было столь благодушным, чтобы думать, что оно отказалось от суровой критики правительственных действий... Наоборот, именно в начале весны 1878 года в петербургском обществе проявлялась раздражительная нервность и крайняя впечатлительность <...>

На нервное состояние общества очень повлияла война.

За первым возбуждением и поспешными восторгами по поводу Ардагана и переправы через Дунай последовали тяжелые пять месяцев тревожного ожидания падения Плевны, которая внезапно выросла на нашем пути и все более и более давила душу русского человека, как тяжелый, несносный кошмар. Падение Карса блеснуло светлым лучом среди этого ожидания, но затем снова все мысли обратились к Плевне, и горечь, негодование, гнев накапливали на сердце многих. Известие о взятии Плевны вызвало громадный вздох облегчения. Точно давно назревший нарыв прорвался и дал отдых от непрестанной, ноющей боли... Но место, где был нарыв, слишком наболело, и гной не вытек... Утратилась вера в целесообразность и разумность действий верховных вождей русской армии. И когда наше многострадальное, увенчанное дорого купленной победой войско было остановлено у самой цели, перед воротами Константинополя, и обречено на позорное и томительное бездействие; когда размашисто написанный Сан-Стефанский договор оказался только проектом, содержащим не "повелительные грани", установленные победителями, а гостинодворское запрашивание у Европы, которая сказала: "nie pozwalam"⁴; когда в ответ на робкое русское "vae victis"⁵ Англия и Австрия ответили гордым "vae victoribus"⁶ – тогда в обществе сказались горечь напрасных жертв и тщетных усилий.

Наболевшее место разгорелось новою болью. В обществе стали громко раздаваться толки, совершенно противоположные тем, которые были до войны. Стали говорить о малодушии государя, о крайней неспособности его братьев и сыновей⁷ и мелочном его тщеславии, заставлявшем его надеть фельдмаршальские жезлы и погоны, когда в сущности он лишь мешал да ездил по лазаретам и "имел глаза на мокром месте". Стали рассказывать злобные анекдоты про придворно-боевую жизнь и горькие истины про колоссальные грабежи, совершавшиеся под носом у главнокомандующего, который больше отличался шутками дурного тона, чем знанием дела. К печальной истине стала примешиваться клевета, и ее презренное шипенье стало сливаться с ропотом правдивого неудовольствия. Явился скептицизм, к которому так склонно наше общество, скептицизм, даже и относительно самой войны, которую еще так недавно приветствовали люди самых различных направлений. <...>

³ Инцидент был бы исчерпан.

⁴ "Не позволю". Использование польского языка, вероятно, намекает на ещё не забытую попытку вмешательства Англии и Франции в российские дела в связи с польским восстанием 1863–1864 гг.

⁵ "Горе побеждённым". Побеждённой в русско-турецкой войне 1877–1878 годов была Турция.

⁶ "Горе победителям". Имеется в виду, что европейские державы принудили Россию изменить условия договора с Турцией в ущерб российским интересам.

⁷ Братья и сыновья царя (великие князья) почти все были в числе военачальников, что обеспечивалось не наличием у них военных талантов, а придворным положением.

Из тысячи почти человек, привлеченных и наполовину загубленных Жихаревым⁸, оказались осужденными лишь двадцать семь, да и о тех сенат ходатайствовал перед государем. <...> Освобожденные от суда в значительном числе оставались в Петербурге, приходили в соприкосновение с обществом, и их рассказы, слухи о самоубийствах и сумасшествиях в их среде и вольные и невольные преувеличения их друзей и семейств поддерживали глухое недовольство и омерзение к судебной процедуре по политическим делам. Тяжкие дни террора были еще далеко, семена его зрели в ожесточенных сердцах, а общество после происходившего в тумане безгласности процесса знакомилось с целями и приемами заговорщиков или по их личным односторонним рассказам, или же в большинстве случаев по беллетристическим произведениям.

Из только что вышедшей "Нови"⁹ общество узнало, что они во многом нелепы, незнакомы ни с народом, ни с его историей, что к наиболее цельным из них примазываются разные фразистые пошляки, что у них нет ясных и прямых целей. Но из той же "Нови" общество узнавало, что они – преступные перед законом, невежественные и самонадеянные перед историей и ее путями – не бесчестные, не своекорыстные, не низкие и развратные люди, какими их старались представить с официальной стороны. И общество не верило официальным глашатаям, а вручало свое сердце и думу великому художнику, который так умел угадывать его духовные запросы... Но если "Новь" устанавливала спокойный и примирительный взгляд на эту молодежь, то появившийся в мартовской книжке "Вестника Европы" за 1878 год рассказ Луканиной "Любушка" бил с чрезвычайной силой и блестящим талантом уже прямо по струнам горячего сострадания и симпатии к ним. Впечатление этого рассказа, одного из chef d'oeuvre'ов¹⁰ русской литературы, рассказа старой няни о том, как ее дитячко, ее Любушка, ушла в пропаганду и погибла так, за ничто, за слова..., было потрясающее.

Он читался повсюду нарасхват и вызывал слезы у самых сдержанных людей <...>

[Дальше речь идёт уже о завершении судебного заседания]

"Звонок, звонок присяжных!" – сказал судебный пристав, просовывая голову в дверь кабинета... Они вышли, теснясь, с бледными лицами, не глядя на подсудимую... Все притаили дыхание... Старшина дрожащею рукою подал мне лист... Против первого вопроса стояло крупным почерком: "Нет, не виновна!.." Целый вихрь мыслей о последствиях, о впечатлении, о значении этих трех слов пронесся в моей голове, когда я подписывал их... Передавая лист старшине, я взглянул на Засулич... То же серое, "несуразное" лицо, ни бледнее, ни краснее обыкновенного, те же поднятые кверху, немного расширенные глаза... "Нет!" – провозгласил старшина, и краска мгновенно покрыла ее щеки, но глаза так и не опустились, упорно уставившись в потолок... "не вин...", но далее он не мог продолжать...

Тому, кто не был свидетелем, нельзя себе представить ни взрыва звуков, покрывших голос старшины, ни того движения, которое, как электрический толчок, пронеслось по всей зале.

Крики несдержанной радости, истерические рыдания, отчаянные аплодисменты, топот ног, возгласы: "Браво! Ура! Молодцы! Вера! Верочка! Верочка!" – все слилось в один треск и стон, и вопль. Многие крестились; в верхнем, более демократическом отделении для публики, обнимались; даже в местах за судьями усерднейшим образом хлопали... Один особенно усердствовал над самым моим ухом. Я оглянулся, Помощник генерал-фельдцейхмейстера¹¹, Г. А. Баранцов, раскрасневшийся седой толстяк, с азартом бил в ладони. Встретив мой взгляд, он остановился, сконфуженно улыбнулся, но, едва я отвернулся, снова принялся хлопать...

В первую минуту судебные приставы бросились было к публике, вопросительно глядя на меня. Я остановил их знаком и, сказав судьям: "Будем сидеть", – не стал даже звонить¹². Все было бы

⁸ Жихарев – прокурор, организовавший следствие и суд (так называемый "Процесс 193-х") над большой группой народников. Против подавляющего большинства их в итоге не оказалось улик и обвинений, и их отпустили до суда или оправдали на суде. Однако до этого они провели несколько лет в предварительном заключении; при этом каждый десятый погиб либо сошёл с ума.

⁹ Роман И. С. Тургенева, посвящённый народникам.

¹⁰ Шедевров.

¹¹ Генерал-фельдцейхмейстер – начальник всей артиллерии.

¹² Через несколько дней, отвечая на упрёк графа Палена, что надо было прекратить этот шум, Кони говорил: "Я спокойно беру на себя вину в том, что не очистил залу, радуясь, что не принял на себя гораздо большей – очистив залу и, весьма вероятно, осквернив ее ненужным кровопролитием... Я не без основания говорю о кровопролитии: вспомните, что произошло вслед затем на улице, при столкновении жандармов с толпой. Где ручательство, что такие же сцены не разыгрались бы и в суде? Притом, очищая залу, знаете ли, с кого я должен был бы начать? С теснившихся сзади меня сановников, с государственным канцлером во

бесполезно, а всякая активная попытка водворить порядок могла бы иметь трагический исход. Все было возбуждено... Все отдавалось какому-то бессознательному чувству радости... и поток этой радости легко мог обратиться в поток ярости при первой серьезной попытке удержать его полицейской плотиной. Мы сидели среди общего смятения, неподвижно и молча, как римские сенаторы при нашествии на Рим галлов.

Но крики стали мало-помалу замолкать, и, наконец, настала особая, если можно так выразиться, взволнованная тишина. Мне оставалось объявить Засулич свободною и закрыть заседание <...> Публика с шумом и возгласами хлынула внутрь залы заседаний, перескакивая через барьеры, и окружила скамью подсудимой и место защитника. Ласковые слова сыпались на Засулич; присяжных поздравляли; Александров не успевал отвечать на рукопожатия и, едва спустился с лестницы, как был подхвачен на руки и с криками торжества пронесен до самой Литейной. Зала опустела <...>

Оправдание Засулич разразилось над петербургским обществом, подобно электрическому удару, радостно возбудив одних, устранив других и всех равно взволновав. Повсюду только и было разговору, что о нем, а газетные отчеты, сообщая в течение нескольких дней все перипетии процесса, держали общественное любопытство в возбужденном состоянии и знакомили провинцию "с нашею злобою дня", которая приобретала значение знаменательного общественного явления. В огромной части образованного общества оправдание это приветствовалось горячим образом. В нем видели урок, предостережение; близорукие любители сравнений говорили уже не только о русской Шарлотте Кордэ, но и о "взятии Бастилии"¹³... Чувствовалось, что приговор присяжных есть гласное, торжественное выражение негодования по поводу административных насилий, и большинство только с этой точки зрения его и рассматривало, окрашивая деятельность суда в политический колорит. В этом же смысле и весьма единодушно высказывалась и петербургская печать. Передовые статьи большей части газет рассматривали решение присяжных именно как протест общественной совести, которая была возмущена явным нарушением закона и грубым насилием и не нашла в себе слова осуждения для той, которая явилась выразительницей негодования, накопившегося в душе многих... Приговор присяжных быть может и неправилен юридически, но он верен нравственному чутью; он не согласен с мертвой буквой закона, но в нем звучит голос житейской правды; общество ему не может отказать в сочувствии... и *saveant consules!*¹⁴ <...>

Но исход дела и напугал многих. Правительство почувствовало общественное значение решения присяжных, принятого с таким восторгом. Все те, кто, быть может, лично и, брезгая насилием, были непрочь допустить его в руках других "для порядка", увидели, что за это приходится дорого платиться; многих возмутило то, что в решении "каких-то присяжных" прозвучал голос осуждения сановнику, генерал-адъютанту, крупному представителю власти... Давно начавшийся разлад между административной практикой и теоретическими требованиями, выросшими на почве преобразований Александра II, сказался резко, громко, во всеуслышание – и победа, нравственная победа, осталась не за практикой. Поле битвы оказалось перенесенным в чуждую, независимую сферу, и в ней мероприятия административного произвола не нашли ни ценителей, ни знатоков. Склониться перед этим фактом значило войти в узкие рамки закона, стеснить себя навсегда, сознательно отречься от того, что поэт называл "необходимостью самовластья и прелестями кнута". Надо было стать на защиту колеблемого авторитета, ибо

главе. Они шумели в первый раз [при описании действий Трепова] и ликовали во второй [после приговора] не менее публики, сидевшей в трибунах и явившейся по билетам, розданным мною людям, чуждым, по своему общественному положению, того, что вы называете "нигилизмом". Мне остается только пожать плечами на обвинение в раздаче билетов нигилистам. В среде публики было много ваших личных знакомых и они могут подтвердить вам, что нелепость этого обвинения равносильна его лживости. Публика состояла из представителей среднего образованного класса, к которому примыкали лица из литературно-ученой среды и великосветские дамы, от назойливых просьб которых я не мог отделаться. Если в публике и была увлекающаяся молодежь, сочувствующая кружкам, в которых вращалась подсудимая, то она далеко не составляла большинства и явилась бы в гораздо большем числе, не будь установлено билетов. Наконец, имейте в виду, что из трехсот билетов сто были розданы чинам судебного ведомства, для их друзей и знакомых. Поэтому крики о подборе публики под одну масть есть клевета, рассчитанная на легкоеверие слушателей..."

¹³ Со взятия народом Бастилии – крепости, служившей тюрьмой для политических преступников – началась Великая французская революция.

¹⁴ Буквально: консулы, будьте бдительны! (Употребляется в смысле: Берегитесь!).

"сегодня Трепов", а завтра кто-нибудь повыше... ведь, "кто богу не грешен, царю не виноват", и т. д. Наконец, очень многие были возмущены отрицанием виновности подсудимой, при наличии факта преступления и сознания в нем. При полном непонимании, которое существует в нашем обществе относительно судебных порядков и способов отправления правосудия, почти для всех вопрос: "Виновен ли?" – и до сих пор равносильен вопросу: "Сделал ли?" <...>

В правительственных сферах забили тревогу, как только после первого впечатления явилось сознание, что общество, выйдя из пассивной роли, выразило осязательно и наглядно в громе рукоплесканий и криках восторга свое неодобрение, свое резкое порицание самому началу незаконных действий видного сановника и в его лице – всей предержавшей власти. В этих сферах были непрочь полиберальничать за обеденным столом и повздыхать о конституции за дымящейся сигарой; готовы были молчаливо-одобрительно выслушивать и даже поощрять самые низкие клеветы и сплетни про этого самого сановника; с удовольствием шутили насчет "небесного" царя, а иногда насчет "земного" и притом насчет последнего весьма злобно и грязно, но "публичное доказательство" недовольства и возможности критики казалось опасным и нетерпимым. И вот те, кто называл Трепова "старым вором", кто удивлялся, как может государь верить столицу этому "краснорожему фельдфебелю", этой "полицейской эрыге", как его называли некоторые, стали на его защиту и завопили о колебании правосудия и о том, что "если так пойдет, то надо бежать из России...".

В Английском клубе поднялась тревожная болтовня, и приговор над судом присяжных был подписан совокупностью сановных желудков, обладатели которых почувствовали себя солидарными с Треповым. Таким образом, в обществе образовалось два взаимно противоположных взгляда, проводимых со страстностью и нетерпимостью, давно невиданными. Для одних решение по делу Засулич было вполне правильным выражением политического настроения общества, и в этом состояла его высота и целесообразность. Для других это решение было проявлением революционных страстей и начавшегося разложения государственного порядка. Людей, которые бы видели в этом решении роковое последствие целого ряда предшествующих прискорбных явлений и тревожный симптом болезненной неудовлетворенности общества, было немного. Для огромного большинства дело представлялось не так. Одни находили, что суд может, не теряя своего значения и смысла и оставаясь все-таки судом, сделаться органом проявления политических страстей, за неимением для них другого выхода; другие считали, что горячий материал, так ярко вспыхнувший по поводу этого дела, создан решением присяжных и что, не будь суда для проявления недовольства, не было бы и недовольства. Они вопреки старому юридическому правилу думали наоборот, что *sublatus effectus – tollitur causa*¹⁵...

Кони А.Ф. Воспоминания о деле Веры Засулич // Кони А.Ф. Избранные произведения. М., 1956.

Zip-архив взят с адреса: <http://ldn-knigi.narod.ru/RUSPROS/Rusknig.htm>
(Частное собрание книг Леона и Нины Дотанов)

¹⁵ С упразднением следствия упраздняется и причина.